



Н. И. СЕДОВА

Жизнь и смерть Троцкого

<Фрагменты>

«В 1902 году я жила в Париже. Я столовалась в квартире на улице Лаланд, где мы заказывали обеды вскладчину. Там бывал Юлий Мартов. В свои 29 лет он уже приобрёл известность как один из создателей первых российских социал-демократических групп, прошедший суровую ссылку в Туруханском крае. Это он однажды за обедом сообщил о прибытии молодого беглеца из Сибири <...>. Лев Давидович пришёл на улицу Лаланд в день своего приезда в Париж. Ему было 23 года, из них три он провёл в ссылке в Восточной Сибири. Его энергия, живость ума, работоспособность говорили о нём как об уже сформировавшейся личности. В тот раз он мало интересовался Парижем. “Одесса лучше!” — шутливо восклицал он. Прежде всего, его интересовала русская революционная эмиграция. Но однажды мы вместе пошли на могилу Бодлера у самой ограды кладбища Монпарнас <...>. С тех пор я уже не мыслила своей жизни без него. Мы жили на улице Гассенди, в открытом всем ветрам квартале, где селились многие российские эмигранты. Моя семья высылала мне по 20 рублей в месяц, что составляло примерно пятьдесят франков. Лев Давидович примерно столько же зарабатывал написанием статей: на жизнь едва хватало, но у нас был Париж, друзья-изгнанники, постоянные думы о России, великие идеи, которыми мы жили...»

<...>

«Мы жили так же скромно, как в Париже или Бронксе. Каждый день приносил важные и сенсационные новости и вместе с ними мелкие продовольственные проблемы <...>. Троцкий был,

возможно, самым популярным оратором в Петрограде, его постоянно вызывали флотские экипажи, полки, заводы, профсоюзы; ему приходилось выступать по нескольку раз в день, и всё же он старался беречь голос и высыпаться, что удавалось не всегда. В цирке “Модерн” у него была своя трибуна, сравнимая с трибуной Якобинского клуба в годы французской революции, но публики здесь было больше. Оттуда, из-за широкой ограды, он обращался к людям с улицы и находил в них пылкую, отзывчивую аудиторию, за каждым его жестом следили тысячи горящих глаз».

«Последние два месяца перед взятием власти мы жили у товарищей в буржуазном квартале неподалёку от Таврического дворца. У нас была только одна комната. Люди, располагавшие средствами, уже тогда делали покупки на чёрном рынке, это называлось “спекуляцией”. Мы же покупали продукты по карточкам и по случаю. У Льва Давидовича не было времени ни на отдых, ни на развлечения. Мы не принимали гостей и сами никого не навещали. Личные отношения полностью стирались, уступая место революционным “деловым контактам”. Лев Давидович уходил рано утром. Он работал в своём кабинете председателя Совета в Смольном институте; это была большая квадратная комната с голыми стенами, почти без мебели, которую каждый день посещали сотни делегатов от разных организаций <...>. Лестницы были заплёваны лузгой от семечек, на стенах висели плакаты и написанные от руки извещения. Коридоры заполняла толпа в фуражках и форменных тёмно-зелёных гимнастёрках. Беспреданно звонили телефоны. Требовалось особое искусство, чтобы отделять правдивые известия от слухов <...>. Лев Давидович пытался беречь силы, но при этом совсем не берёг себя. Он всегда старался бороться с перегруженностью делами, соблюдать трудовую дисциплину, добиваясь “максимальной самоотдачи”. Тогда было модно одеваться с некоторой небрежностью; этой моде он никогда не следовал. Не стремясь выглядеть щегольски, не понимая, как можно подбирать галстук в тон костюму, он обладал врождённым стремлением к порядку и не желал выглядеть как все окружающие. Обедал он в столовой Совета, большом зале, уставленном деревянными столами и скамьями. Обыкновенные щи, уха, каша, компоты, чай. Он не курил. Ростом он был немного выше среднего, стройный, хорошо сложенный. У него был бледный цвет лица, густая тёмная шевелюра, усики, бород-

ка клинышком. За стёклами пенсне сверкали пронизательные глаза. 7 ноября 1917 года, в день победоносного восстания, ему исполнилось тридцать восемь лет.

Всё время отдавая работе, он редко видел своих детей. Он замечал в толпе на собраниях старших дочерей Зину и Нину, высоких девушек с сияющими глазами, но на выходе его окружало столько людей, что он лишь мог обмениваться с ними взглядом или улыбкой. Оба наших мальчика посещали школу; после уроков они часто отправлялись в Совет. Я работала в профсоюзе краснодеревщиков и добилась разрешения, чтобы они обедали вместе со мной».

<...>

«Из маленькой комнаты на Таврической улице нас переселили в Смольный институт, поближе к месту работы и из соображений безопасности. Мы заняли две светлые квадратные комнаты с высоким потолком и большими окнами. Помню, не найдя материала на рубашки мальчикам, я воспользовалась разноцветными бархатными скатертями, которые обнаружила на столах. Лев и Сергей обрушились на меня с упрёками, они не хотели носить эти рубашки. Однажды Ленин, вместе с женой и сестрой занимавший комнаты по тому же коридору, зашёл к нам на минутку и увидел ребят в этих рубашках. Он поставил их рядом, отошёл подальше, чтобы полюбоваться, и воскликнул: “Мне очень нравится”... Меня поразило это неожиданное замечание, приятно удивило, что Ленина могут интересовать такие мелочи. И, начиная с того дня, дети без возражений одевали эти рубашки <...>. Во всех соседних помещениях заседали комитеты, здание по-прежнему щетинилось стволами пулемётов».

<...>

«Жизнь стала более упорядоченной. Мы по-прежнему занимали квартиру из четырех комнат в Кавалерийском корпусе Кремля. Как всегда, Лев Давидович работал очень методично; он выкладывался максимально, но не переутомлялся. Еще со времен юности в его привычки вошли пунктуальность, внимательность, соблюдение распорядка дня, того же он требовал и от окружающих. Он не допускал опозданий на заседания и встречи. Терпеть не мог болтовни, разгильдяйства, небрежности в работе, и ему без труда удавалось подобрать себе серьезных сотрудников, так что во время разрухи Наркомат по военным и морским делам, Реввоенсовет и другие учреждения, которыми он руководил, а также его лич-

ный секретариат, служили примером хорошей работы, и в Москве об этом говорили порой с восхищением, порой с ненавистью.

Он вставал около половины восьмого утра и приходил в Наркомат по военным и морским делам примерно к девяти. Часто он обедал в Кремле, около половины второго, и иногда после этого ему удавалось недолго отдохнуть. Тогда он позволял себе посмеяться, пошутить вместе со своей семьей — чтобы на какое-то время отвлечься от текущих дел. Вторая половина дня и вечер часто бывали заняты заседаниями и работой в наркомате. Когда председательствовал Ленин, перед ним лежали часы, он направлял дискуссию, у наркомов было по две, три, максимум пять минут, чтобы высказать свое мнение; и пока они говорили, дискуссия продолжалась в письменном виде, при помощи листка бумаги и карандаша, который передавали друг другу. По возвращении с фронта или с заседаний различных комитетов Лев Давидович почти никогда не рассказывал о происходивших там событиях. Охотнее он говорил о людях, их характерах, обыкновенно доброжелательно. Он оценивал людей по их качествам, способностям и даже вынося строгие суждения, когда к тому вынуждали обстоятельства, стремился к беспристрастности и объективности. Во время Гражданской войны он встречался со многими неизвестными или почти неизвестными, но замечательными людьми, и это укрепляло его сознательную веру в массы. Как-то в поезд Троцкого явился знаменитый уральский партизан Чапаев¹. Разговор начался со спора и закончился полнейшим согласием. “Будет сделано!” — сказал партизан, и два человека обнялись. Позднее литература и кино создали образ Чапаева, которого Лев Давидович не узнал. По его словам, партизан был гораздо более живым, лучшим, просто более сильным, способным инстинктивно и хладнокровно идти на самый большой риск. Чапаев погиб на фронте.

Самому Льву Давидовичу не раз угрожали опасности, причём он не искал их и не стремился их избежать, просто делал своё дело с какой-то оптимистичной уверенностью. Он считал, что военачальник должен уметь идти на риск, когда того требует боевой дух войск. Забота о его личной безопасности в боевом поезде была поручена латышу Петерсону, который затем командовал кремлёвской гвардией и организовывал поездки Льва Давидовича. Предосторожности, заранее расписанные маршруты порой

возмущали Троцкого. “Я, кажется, становлюсь вещью!” — жаловался он, но из чувства дисциплины подчинялся. В связи с этим вспоминается забавный случай. Вскоре после того, как мы поселились в Кремле, часовой, не знавший Ленина в лицо, не пустил его в Кавалерийский корпус, где жили мы. Владимир Ильич напрасно пытался уговорить его и в конце концов отправился за пропуском на пост у входа, но история эта привела его в восторг, и он пришёл к нам, смеясь.

Льву Давидовичу часто ставили в упрёк излишнюю сдержанность в общении. Дело в том, что он почти ни с кем не был на “ты”, мы не принимали гостей и сами не наносили визитов — прежде всего, из-за нехватки времени; театр он посещал крайне редко, короче говоря, наш круг общения был узок и обусловлен работой или политической борьбой. Однако при этом складывались и по-настоящему теплые человеческие взаимоотношения. Самые близкие сотрудники Льва Давидовича, более молодые, с которыми он общался только по работе, любили его и знали, насколько он ценит их. Склянский, Бутов, Глазман, Сермукс, Познанский, Виктор Эльцин² сохранили ему верность до конца и погибли во имя её после долгих лет кошмара. Пятаков советовал Льву Давидовичу демонстрировать “большую общительность”, ибо его манера держаться могла вызвать упреки в высокомерии и презрении к окружающим. “Вам надо изменить характер”, — настойчиво убеждал Пятаков. В 1926 году Лев Давидович отправился встречать Новый год к Каменеву, этажом выше, рассчитывая, помимо прочего, составить себе представление о настроениях участников так называемой Ленинградской оппозиции. Вскоре он вернулся: “Это невыносимо. Ликёры и вечерние платья! Болтовня. Можно подумать, что мы в салоне...” Ещё больше не любил он двусмысленных, порой отдающих вульгарностью анекдотов, которые люди охотно рассказывают; Радек, придумывавший их и умевший комично преподнести, замолкал при приближении Льва Давидовича, чьё чувство юмора было иного рода.

Он не курил. Не употреблял спиртного, разве только в исключительных случаях. Его день завершался после полуночи. Единственными его развлечениями были охота и рыбалка, которые он незадолго до того открыл для себя, вместе с Преображенским³, Мураловым, Пятаковым. Оказаться на заре среди бледных вод,

в камышах, в компании опытного старого охотника, сына и внука охотников, и подстерегать дикую утку или расставлять силки; пробираться сквозь величественный заледеневший лес, среди моренных гряд и в итоге завалить бурого медведя — это по-настоящему восстанавливало силы соприкосновением с землёй, деревьями, водой, снегом, ветром... Это тоже была своего рода борьба, а также время размышлений».

